

**Сазонов Сергей Дмитриевич**

# **Жестокость**

Москва  
«Книга по Требованию»

УДК 93  
ББК 63.3  
С14

С14 **Сазонов Сергей Дмитриевич**  
Жестокость / Сазонов Сергей Дмитриевич – М.: Книга по Требованию, 2012. –  
51 с.

**ISBN 978-5-4241-3286-5**

**ISBN 978-5-4241-3286-5**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Сергеев-Ценский Сергей  
Жестокость



Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Жестокость

Повесть

I

У берегов появились нумерованные, мрачного вида английские крейсера, осторожно, но неуклонно-деловито пускавшие черные "колбасы" в небо. От Керчи шли слухи, что там дело очень серьезно. "Кроют!" - говорили красноармейцы. В Севастополе тоже "крыли"... И красные сняли телефоны и отступили в ночь на 21-е июня 19-го года, чтобы успеть вовремя вылиться из этой кубастой ликерной бутылки - Крыма - через узкое горлышко перешейка.

Занимали места в автомобилях, фаэтонах, линейках; иные же бросали накопленные вещи, а также семьи, которыми кое-кто успел уже обзавестись, и двигались по шоссе пешком, надеясь пробраться затемно за перевал в степную часть, а там затеряться на время в большом городе и выждать, таясь и не спеша.

В крайнем случае всегда ведь можно было записаться в добровольцы и идти до первой встречи со своими. Но этот "крайний случай" не представлялся ясно сознанию: поезд, битком набитый вагон, стремительность хода, частые свистки паровоза, движение, сжатое полосками рельсов, - это было яснее, и в это верилось.

Гремели дороги.

Напрягаясь, как живые, пытались обогнать один другого автомобили.

Трещали по камню шоссе колеса линеек. Кричали:

- Не задерживай!.. Эй!.. Давай ходу!..

А в лесу по сторонам кто-то гукал, гикал, огогокал, свистал.

Иногда раскатывался очень громкий в ночи выстрел... за ним другой, третий... Потом стихало, но автомобили и лошади громоздились друг на друга; пышущие лошадиные морды сбивали фуражки с пассажиров легковых автомобилей; лошади шарахались, ломали оглобли...

Ночь была темная. Беспokoйно бились сердца. И кто-то кого-то ругал отчетливо, убежденно и громко:

- Вот так эвакуация! Не могли вовремя дать знать, подлецы!..

Когда небольшой шестиместный фoрд с шестью пассажирами выехал, наконец, из лесу и пошел полями, начало уже светать, и беглецы присмотрелись друг к другу и перекинулись несколькими словами... Из шести только трое были из одного места, другие трое пристали уже в пути.

В каждом человеческом лице есть детское, и как бы глубоко ни прятали его, бывают такие моменты, когда оно появится вдруг, и окажется, что человек еще совсем не жил. Это - моменты смертельной опасности или следующие за ними, когда опасность только что миновала.

Уже то одно, что все шестеро были безусы и безбороды и весело настроены (верст тридцать откатили от берега), приближало их к детям. Но они теперь, при неуверенном еще свете утра, стали близки друг к другу, как бывают близки только дети.

Много было табачных плантаций по сторонам и полотниц пшеницы, и табак был могуче-зеленый, полосы пшеницы охряно-желтые, - так угадывал глаз. Однако и пшеница лишь только чуть иссера желтела, и табак еще только слегка

зеленил утренний туман, и небо еще было младенчески-молочное, не совсем отскочило от земных твердынь...

Так же вливались и эти шесть лиц из ночной неизвестности в дневную внятность.

Одно - курносое... Ясно круглились дырья ноздрей над ощеренным щербатым ртом. Глаз сначала не было заметно - щелки; потом проступили, когда стал он говорить и смеяться: восхищенные, изумленные, откровенно жадные к жизни. Кожа на щеках молодая, мягкая, немного бледная от бессонной ночи, и большие серые глаза с крупными зрачками.

Чуялось по этим глазам, что хорошо он играл в детстве в лапту, этот курносый, и в городки, и в бабки; ловко лазил по деревьям, охотясь за яблоками в чужих садах, переплывал на тот бок речки, где тянулись вдоль берега бахчи, и возвращался обратно, волоча в одной руке свои штанишки, полные огурцов и скороспелых маленьких золотых дынь, а с берега беззубо ругался ему вдогонку старый бахчевный дед и грозил колдашом.

Это где-нибудь в Рязанской губернии, на Проне, или ближе к Спасску, на Оке, под Старой Рязанью, разоренной когда-то Батыем... И с детства только и говорили кругом:

- Зямельки ба!.. Вон у помещика Стерлингова аржица какая нонча я-дре-ная!..

Но в заливных лугах по Оке хорошо было. После Петрова дня можно было увязаться за охотниками из города, ночевать с ними в стогах, есть колбасу и пить водку и на заре показывать им утиные озера...

Между делом можно было украсть у них рожок пороху, горсти две дробы, шомпол... Мало ли на что годится эта гладенькая палочка... На кнут, например... А когда будут уходить домой и на прощанье дадут ему двугривенный, неотступно идти за ними следом и приставать:

- Дяденьки!.. Дайте еще хучь питялтынный!.. Мало, ей-бо, мало!.. Ночь не спамши... и комари... и цельное утро ходимши!.. Барины, дайте!..

И, получив еще двугривенный и отойдя на приличное расстояние, начать длинную, живописную, - что на ум взбредет, - ругань. Зачем?.. Так себе, низачем...

Наругавшись всласть, идти к стогам, где ночевали, найти там украденную и спрятанную еще вчера с вечера в сено салфетку, собрать в нее все брошенные бутылки и окурки, разыскать на озере то место, где были спрятаны под камыш две убитых матерки, поспешно, но так все-таки, чтобы не переукрала их у него носастая охотникова собака - лягаш, и, только забравши все это, идти торжественно к себе, в Старую Рязань, далеко видную, так как стоит она на высоком берегу, и церковь в ней кирпичная, красная, с белыми разводами, на четыре угла и одноглавая, похожая на большую часовню.

Бутылки в деревне, конечно, нужная вещь, - для масла, для квасу, для дегтя... Но он знал, зачем ему нужны были бутылки. Он сыпал в бутылку известку, наливал воды, забивал потуже пробку, ставил где-нибудь на бугорке и ждал, когда хлопнет бутылка, как выстрел из ружья, и разлетится стекло в мелкие дрызги... Ух, здорово!.. А если не было извести, - набирал ребят, ставил бутылку где подалее и начинал игру: "А ну, кто попадет в нее с одного камня?.." Чаще всего сам и попадал, потому что мошенничал: набирал заранее в карман таких круглых

гольшей, что сами летели в цель.

Отрезать у чужой лошади хвост, загнать свою лошадь в ночном на помещиков хлеб, накормить соседского Старостина мальчишку навозом, а если найти в сору булавку, то сразу сообразить, что ее надо закатать в хлебный мякиш и подбросить через забор поповскому лохматому меделяну, а потом идти с желтой ромашкой-поповником около поповых окошек и безмятежно твердить, как принято искони у ребят:

- Поп, поп, высиди собачку!.. Поп, поп, высиди собачку!.. Поп, поп, высиди собачку!..\*

---

\* Гусеницы в простонародье называются, как известно, "поповы собаки"; в поповнике затаиваются личинки одного вида жука, чтобы перебраться на пчел. (Прим. автора.)

И коситься на окна.

Отец его объелся крутой пшенной каши и умер от заворота кишок. С тем и умер, что все катался по полу и кричал в голос:

- Отведите от смерти!.. Ой, смерть моя!.. Отведите от смерти!..

А мать не могла взять в толк, как может умереть здоровый мужик от котелка пшенной каши.

- Во-от, родимец!.. Диви бы яд какой! Каша!

Он же, курносый, вывел из этого твердое правило на всю свою жизнь: не ешь каши - помрешь, поешь каши - тоже помрешь, потому - деревня!.. Кабы город...

В городе Спасске - напротив, через Оку - был у него родной дядя по матери - Любим, ходил в городских с селедкой. Там и всего-то их было трое городских на весь Спасск, и такой уж это был до чрезвычайности дикий город, что даже и плотно, тяжелого на вид человека в форме и с шашкой и серебряной цепочкой часов навыпуск звали не Любимом, а Бимкой, точно собачку.

Но он ведал базаром, и только ему одному были известны все тонкости законов, против которых грешили торговки, и в базарные дни он бывал грозен. Он двигался по базару, медленный, величавый и зоркий, как ястреб, и, остановясь перед той или иной бабой, строго и проникновенно глядел на нее из-под спущенных бровей, вынимая в то же время замазленную записную книжку и карандашный огрызок. Затем, поглядев еще свирепее, начинал ставить в своей книжке каракули.

- Бимка!.. Бимка, не пиши! - пугалась баба, брала из выручки два пятака или даже больше и совала ему в карман.

Бимка смягчался, переставал сопеть, расправлял тугие усы и двигался дальше. Оглядев с головы до ног следующую бабу, опять начинал сопеть, насупливал брови, как индюк, и принимался мусолить свой карандаш.

- Бимка! Чего ты там?.. Бимка! Не пиши! - пугалась и эта и тоже давала.

Так набиралось к обеду достаточно, чтобы даже и квартального угостить зубровкой и пирогом.

Бимка укоренился тут и завел порядочное хозяйство, но ребята у него не стояли, а у сестры его в Старой Рязани хозяйство было вдовье, и ребят содом. Вот почему он, курносый, поселился у городского Бимки, и дядя даже в училище устроил племянника, в единственный каменный дом во всем Спасске: наверху управа и казначейство, внизу - училище... Против училища - городской сад.

Месяца три продержался он тут тихо и скромно, потом стало скучно. На улицах везде сыпучий песок, домишки - из бревен, как у них избы, крыши тесовые, гнилым-гнилое все, только на слом. Или поджечь если, - вот бы горело здорово! Тоже называется го-род!..

Заметил в шкафу у дяди пятирублевку и присвоил. Пошел в трактир Маврина, пил пиво, курил папиросы "Амур", раз десять приказывал заводить граммофон... Половому, уходя, дал целковый на чай, вышел и стал кричать:

- Гор-родовой!.. Кара-ул, - грабят!..

А городской Бимка как раз проходил невдали.

На другой день Бимка говорил его матери:

- Видала, куда твой малый смотрит?.. На мой сгад, смотрит он на свои хлеба, на Касимов: потому - проворен, однако и вороват и поведения нетрезвого... Там, в Касимове, на какой ни на есть кожевенный завод поступит, - найдет свою линию жизни... А мне, я тебе скажу, такой ни к чему!.. Я на такого племянника, если ты хочешь знать, - очень сурьезно даже могу осерчать... И на тебя тоже.

Нашли подходящего человека и отправили его с ним в Касимов, город куда более веселый, чем Спасск: в каждом доме гармоника.

И курносый стал заводской в четырнадцать лет, а к семнадцати вполне прилично играл на бильярде, играл на гармонике, играл в карты и пел: "Вставай, подымайся..."

И это он в мартовские дни прикатил из Касимова в чрезвычайно дикий свой город Спасск организовать тут революционный комитет и в первую голову низложил Бимку, собственноручно снял с него селедку и арестовал, чтобы отправить на фронт.

- Ка-ак? - совсем опешил Бимка. - Это ты?.. Племяш называемый?.. Родного свово дядю так?..

А он ответил:

- Теперь дядей-теток нет - теперь революция!

Она захватила его всего целиком - революция. С того времени, как она началась, она без передышки пела в его душе: революция! Ему казалось, что это и не слово даже, а какая-то голосистая, горластая песня, которая никогда и никак не в состоянии будет надоесть, а всегда будет звучать лихо, удало, завлекательно, раскатисто на весь свет: ре-во-лю-ци-я!.. Оно было найдено им, наконец, средство от скуки жизни. Были такие хозяева у жизни, которые сделали эту жизнь прежде всего почему-то скучной, - просто до тошноты скучной, - и теперь он готов был им без конца мстить за это.

- Их надо всех поуничтожать, чертей! Вконец! - кричал он звонко и отчетливо, намекая на этих бывших хозяев жизни и подымая кулак.

И казалось ему совершенно простым и ясным, что не в ремонте только нуждается жизнь, а в окончательной перестройке.

С началом революции у него появилась способность говорить речи. Правда, речи эти были не очень длинны (скука длинных речей была ему совсем не к лицу), но зато выразительны, и кончались они большей частью так:

- И потому, стало быть, товарищи, все надо к чертовой матери!

Однако подсохла как-то революция к лету, вступила в затяжную какую-то скучную полосу: хозяева жизни оставались на своих местах, война продолжалась, и, если бы бросил он завод, его бы забрали в армию.

И от начавшей было сосать его новой тоски, еще более тошной, он избавился только в октябре.

И, как пылинка среди пылинок, поднятых вихрем из-под давящих ног, он закружился радостно. Он успел уже побывать и на Дону и на Кубани... Был в квартире генерала Каледина... На бронепоезде под Ригой помогал обстреливать немцев, - подносил к шестидюймовке снаряды... Сюда, в Крым, он приехал как комиссар труда и с огромной энергией уничтожал хозяев, реквизировал, жучил, обобществлял.

Но, налетевши в вихре, как пылинка среди пылинок, он улетал теперь в том же вихре, без сожаленья и без грусти, с одной только жаждой нового полета, и из шести лиц, столкнувшихся вместе в тесном вместилище каретки форда, это было наиболее беззаботное, наиболее веселое, наиболее верящее в счастье, наиболее избалованное счастьем, насквозь пронизанное лучами счастья лицо... И счастье это было все то же - певучее, вместившее в себя тысячу песней, истинная "Песнь песней" - слово "ре-во-лю-ци-я"!!..

На другом лице были блестящие, как стекло, черновекие глаза, от темных подглазий огромные, нос серпом и уши, как у летучей мыши.

В Каменец-Подольске, над извилистым и быстрым Смотричем, на польских фольварках или потом в Подзамчье, в узеньких, кривых, помнящих турок уличках, около бывшей турецкой крепости, ныне тюрьмы, в воротных каменных устоях которой сидели, прочно влипнув, круглые бомбы, - прошло детство.

Какой крупный, исчерна-сизый виноград бессарабский привозили из Хотина, за двадцать шесть верст, и как приманчиво на площадке около моста, на возах молдаван, горели по вечерам фонарики!..

Это было как таинство. Пролетки извозчиков дребезжали по булыжнику мостовой, заглушая все остальные звуки; стены домов около чуть белелись и казались совсем легкими, как из оберточной бумаги, и единственным, плотно закругленным, существующим самостоятельно и в то же время недосыгаемым, как мечта, были эти возы с фонариками над горами терпко пахнущего винограда. Подходили к этим возам, пробовали, торговались, но спокойно, как сама судьба, говорили молдаване:

- Тилько дэсят копэек...

Достать бы гривенник и купить фунт!.. Но разве можно было где-нибудь достать целый гривенник?

Мелом на старых серых досках, кое-где даже черных от гнили, на фронте кривого крылечка было начерчено кривыми, пьяными буквами по-русски: Меламед. Сюда он бегал каждое утро, подтягивая на бегу шлейки коротеньких гультиков.

Меламед был в рыжем, густо заплатанном длинном сюртуке и сам рыжий, с закрученными концами длинной бороды и волос над ушами. Муаровый вздутый картуз носил внахлобучку; имел козий голос. Часто кричал, сердясь, и больно бил его указательным скрюченным пальцем в затылок...

В этом хедере было их человек десять, и так громко учились они читать по-еврейски, что русские прохожие затыкали уши.

Проходя мимо аптеки Англе в Троицком переулке, мечтал он быть аптекарским учеником, ходить в чистеньком костюме, в воротничках и манжетах, с блестящими запонками, может быть и из нового золота, но совсем как настоящие

золотые, приносить домой разные духи и пахучие мыла в красивых обертках... Но разве так много аптек в Каменце?.. И разве же так много нужно туда учеников?.. В декабре, когда выпадал снег даже и в Каменце, по первопутку к польскому и русскому Рождеству привозили битых гусей, накрест перевязанных тонким шпагатом, и горы гусиных потрохов лежали на мешках, посланных на земле на Старом базаре, и целый гусь тогда продавался по рублю, даже по девять гривен, а потроха (все в сале!) за четвертак!..

Но где же было взять целый рубль, когда в семье - восемь человек, и когда отец всего только шмуклер, и может вышивать только звездочки на погонах этих страшных офицеров казачьего полка?..

Разве один из этих офицеров не отрубил своей шашкой четырех пальцев купцу Розенштейну? Они - урюпцы, и у них - вишневая епанча сзади на бешмете... Когда они учились на площади, то на всем скаку соскакивали наземь, и по команде тут же бросались наземь их лошади... А казаки из-за лежащих, как мертвые, лошадей открывали стрельбу.

Испуганный, он бежал тогда от этих непостижимых людей с их колдовскими лошадьми, как мог дальше, и даже боялся обернуться назад.

В узеньких улочках Подзамчья, где отовсюду пахло жареным луком, где все чем-то торговали и все знали обо всех всё, было гораздо спокойнее, потому что не было непостижимых загадок. Даже козы, кое-где на двориках в три аршина обгладывающие, стоя на задних ногах, последнюю кору с каких-то деревьев, даже и эти умные козы с наблюдательными глазами, чем же они загадочны? Это - еврейские козы, и от них явная польза: три стакана молока в день!

По воскресеньям гудел орган в кафедральном костеле, и с молитвенниками в руках шли туда все красивые, нарядно одетые, в конфедератках на головах паненки.

Костел красивый, музыка органа красивая, паненки красивые... но ведь чужие!.. Но ведь это же все чужое!.. А разве можно полюбить чужое?

- Нухим! Нухим!

Вот около костела - Нухим: это свое.

Нухим - его старший брат, извозчик от хозяина. На нем синяя чумарка, подпоясанная ремнем с бляхами, и драная шапка. Он ждет у костела - может, какой пан вздумает прокатить свою пани из костела домой в фаэтоне.

И пан - длинные червонные усы, и сам такой важный, - выходит под руку с пани, и пан смотрит презрительно на нухимовых кляч и на ободранный старый фаэтон, и пан говорит сквозь зубы: "Жидивска справа!" - и идет пешком.

А Нухим подтягивает кнутовищем шлею на одном из пары своих одров и ждет другого пана, который не так важен, как этот, который, конечно, так же скажет, как этот: "От-то-ж жидивска справа!" - но все-таки сядет в фаэтон и даст ему что-нибудь заработать.

Нет, когда он вырастет, он никогда не станет извозчиком, как Нухим!.. Он может поступить приказчиком в книжный магазин Лахмановича и будет продавать книги... Лахмановичей не так много, как извозчиков, Лахманович один, и всякий, даже самый важный пан, если он захочет купить книгу, пойдет в магазин Лахмановича на "Шарлоттенбурге", где так хорошо гулять по вечерам... Или в магазин Шапиро, или в магазин Варгафтига он поступит, мало ли магазинов? Он будет такой умный, что даже во сне будет думать, и так будет слушать хозяина,

что его уж ни за что не прогонят, только бы приняли.

От их дома далеко был сквер, где играл оркестр. Нужно было идти туда через мост к Новому городу. Под мостом, внизу и вправо, - русские фольварки. Под русское Рождество отсюда ночью выходили парни с большими звездами, склененными из красной бумаги и картона. Звезды эти несли на палках, и в середине каждой звезды горела свечка. Парни пели...

Издали это было очень красиво, и можно было долго смотреть с моста, как колыхались внизу красные звезды в темноте, и слушать, как согласно пели парни... Но это было чужое... А разве можно было привыкнуть к чужому?

Вот что было свое: когда старшей сестре уже пришло время выходить замуж, у нее было два жениха, оба портные. И она привела их обоих домой и сказала:

- Возьмите иголки и нитки и начните шить, а я посмотрю уж, кого мне выбрать.

И оба начали шить, и он, маленький, тоже глядел на обоих.

Один был помоложе и покрасивее и дал ему, придя, конфетку в бумажке, а другой, постарше, не понравился ему: худой и даже немножко хромой...

Но только они начали шить, сестра Лея уже выбрала себе в мужья именно этого, немножко хромого, потому что он шил короткой ниткой, а другой длинной.

- Ну, я уж зараз вижу, кто меня с детьми лучше прокормит, - сказала Лея.

А он тогда этого не видел и не знал даже, - можно ли ему есть конфетку или отдать обратно отвергнутому жениху, - и плакал.

И вот еще что было свое... В театре давали оперу "Жидовка", но, чтобы попасть даже на галерку, надо было заплатить целых семьдесят копеек!.. Где же было маленькому еврейчику достать такие большие деньги?.. И он ходил около дверей, и всех, кто шел в театр, просил, чтобы взяли и его...

Никто не взял.

И еще было свое, - древнее, как сами евреи: боязнь погрома... Такого погрома, как в Кишиневе, в Одессе, в Гомеле, в Умани, в Гренаде, в Кордове, в Пруссии, в Англии, в Палестине, в Египте...

В партию, обещающую сделать бесплатными все театры, отнять у хозяев лошадей и фаэтоны и отдать их Нухимам; дать Леям хороших мужей, не связывая их выбор с короткой или длинной ниткой, сделать общим достоянием бессарабский и иной виноград, открыть всем доступ в аптеки и в книжные магазины; сделать так, чтобы казачьи офицеры не рубили уж больше шашками пальцев Розенштейнам и чтобы полиция не устраивала бы уж больше погромов, он вступил, когда ему было только шестнадцать лет.

И в том городе, откуда он бежал теперь на север, он был комиссаром продовольствия, то есть ведал мукой и пайками, однако, глядя на него теперь, никто не заподозрил бы его в том, что сам он съедал два-три-четыре пайка: он был желт, худ, костляв, а револьвер в кобуре желтой кожи казался на нем совершенно лишним и даже делал его смешным, так как до колен оттягивал его пояс, точно не он нес револьвер, а револьвер - его.

И была странная особенность у этого лица, сбегавшегося вниз от линии лопухих ушей к узкому бескровному подбородку правильным равнобедренным треугольником, - особенность взгляда.

Кто бы и что бы ни сказал, эти два неверно-блестящих выпуклых глаза тут же

скользили по другим, ища ответа: так ли сказано или нет, в насмешку это или серьезно, умно это или глупо?.. И только тогда успокаивались на чем-нибудь одном эти глаза, когда схватывали общее впечатление от сказанных слов, и, если оно было "серьезно", - сами становились серьезными, если же "в шутку", - смеялись. Это были очень беспокойные, шарящие глаза; но так же беспокойны были и тонки мускулы на его лице, на котором никак не могло прочно улечься ни одно настроение: подозрительность явная была в нем ко всем настроениям вообще и к их прочности.

Что бы ни начинал говорить он сам, он все начинал со слова, казавшегося ему совершенно бесспорным, всегда и везде уместным, в которое он поверил, как в любую строку из таблицы умножения, - со слова "товарищи"; и видно было, что десятки тысяч раз за свою недолгую партийную жизнь успел он сказать это слово, но когда говорил: "товарищи!" - то, странно, - делал ударение то на "ва", то на "щи".

Третье лицо было крупное, с квадратным подбородком, широкое к вискам, похожее на опрокинутую пирамиду, мясистое, светлоглазое, большеносое, очень полнокровное, близкое к русским лицам, но в чем-то не вполне ясном, однако бесспорно - не русское лицо.

Это там, в бывлой Курляндии, около Тальсена, в сосновом лесу, на мызе, сыто рос этот плечистый, здоровый чистяк латыш, высокий, как сосна среди сосен. Это там, где так много озер кругом, и к озерам на водопой выходят из лесу пугливые дикие козы, но в озерах нельзя было ловить рыбу, и нельзя было в лесу охотиться на коз.

Можно было арендовать землю у барона и оставлять ему обработанные поля и устроенные мызы, если не можешь выполнить договор, или идти батраком в его имение, или служить на его лесопилке.

На одной такой мызе рос и он, и, когда был совсем маленький, его друзьями были добродушная, мягкая, серая мурчалка-кошка Фиуль и облезлая старая канарейка Фогель Ганс, тоже добродушное, давно привыкшее к людям существо, и все кругом его было доброе, добротное, добродушное: и сама широкая изба на мызе, и широкие вдоль стен крепкие дубовые лавки, и широченная печь, из которой так часто и так вкусно плотно пахло круглым и мягким ржаным хлебом, и широкоплечая грудастая мать, и исполин отец, и два старших брата - Карл и Ян, как два хороших дубка, и, наконец, все эти слова родного их языка, полноголосые, круглые, упругие, как литые резиновые мячи, которыми они перебрасывались неторопливо:

Куа?.. Ну йя!.. Нэ кас нэбус!..

(Что?.. Ну да!.. Ничего не будет!..)

Но говорили в семье и по-немецки, так как край был искони немецкий, и даже по-русски, так как отец его долго служил в солдатах.

Ему было тогда семь лет, когда началось восстание против господ... Теперь, когда ехал он на форде, ему шел двадцать первый, но помнил он хорошо и хранил в памяти свято тот год.

Когда, в отместку за разоренные и сожженные замки баронов, край наводнили казаки и драгуны, Карл и Ян стали "лесными братьями", и тогда, в семь лет, окончилось его детство.

Их мызу сожгли казаки, отца и мать погнали нагайками прочь. Поспешно